

В первых числах декабря 1941 года в селе Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку, назвавшую себя Татьяной. Она оказалась московской школьницей Зоей Космодемьянской.

(Из газет)

«Зоя» — невыдуманная поэма. Я писала ее в сорок втором году, через несколько месяцев после гибели Зои, по горячему следу ее короткой жизни и героической смерти. Когда пишешь о том, что было на самом деле, первое условие работы — верность истине, верность времени, и «Зоя», в сущности, стала поэмой и о моей юности, о нашей юности. Я писала в поэме обо всем, чем жили мы, когда воевали с немецким фашизмом, обо всем, что было для нас в те годы важно. И как трагической осенью сорок первого года, вечером Октябрьской годовщины, слушала вся страна речь Сталина из осажденной Москвы. Эта речь означала тогда очень много, так же как и ответ Зои на допросе: «Сталин на посту».

С тех пор прошло более двадцати пяти лет, густо насыщенных всенародными событиями и переживаниями, грозными потрясениями и прозрениями. Я пережила их всем своим существом и существованием, а Зоя нет. Я знаю оценку, данную Сталину и его деятельности историей, и этим я сегодня отличаюсь от Зои.

Такого различия не было между нами, когда писалась поэма, и я не считаю себя вправе корректировать ее теперь с высоты своей сегодняшней умудренности. Я печатаю поэму так, как она была написана в сорок втором году, ради исторической и душевной правды той эпохи, потому что нужно знать правду о прошлом, чтобы полной мерой понимать правду настоящего.

1968

ВСТУПЛЕНИЕ

Я так приступаю к решению задачи,
как будто конца и ответа не знаю.
Протертые окна бревенчатой дачи,
раскрыты навстречу московскому маю.

Солнце лежит на высоком крылечке,
девочка с книгой сидит на пороге.

«На речке, на речке,

па том бережочке,
мыла Марусенька белые ноги...»

И словно пронизана песенка эта
журчанием речки и смехом Маруси,
окрашена небом и солнцем прогрета...

«Плыли к Марусеньке
серые гуси...»

Отбросила книгу, вокруг поглядела.
Над медными соснами солнце в зените...
Откинула голову, песню допела:

«Вы, гуси, летите,
воды не мутите...»

Бывают на свете такие мгновенья,
такое мерцание солнечных пятен,
когда до конца исчезают сомненья
и кажется, мир абсолютно понятен.
И жизнь твоя будет отныне прекрасна —
и это навек, и не будет иначе.
Все в мире устроено прочно и ясно —
для счастья, для радости, для удачи.
Особенно это бывает в начале
дороги,
когда тебе лет еще мало
и если и были какие печали,
то грозного горя еще не бывало.
Все в мире открыто глазам человека,
Он гордо стоит у высокого входа
... Почти середина двадцатого века.

Весна девятьсот сорок первого года.
Она начиналась экзаменом школьным,
тревогой неясною и дорогою,
манила на волю мячом волейбольным,
игрою реки, тополиной пургою.

Московские неповторимые весны.
Лесное дыхание хвои и влаги.
...Район Тимирязевки, медные сосны,
белья на веревках веселые флаги.
Как мудро, что люди не знают заранее
того, что стоит неуклонно пред ними.
— Как звать тебя, девочка?
— Зоей.
— А Таня?
— Да, есть и такое хорошее имя.

Ну что же, поскольку в моей это власти
тебя отыскать в этой солнечной даче,
мне хочется верить, что ждет тебя счастье,
и я не желаю, чтоб было иначе.
В сияющей рамке зеленого зноя,
на цыпочки приподымаясь немножко,
выходит семнадцатилетняя Зоя,
московская школьница-длинноножка.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Жизнь была скудна и небогата.
Дети подрастали без отца.
Маленькая мамина зарплата —
месяц не дотянешь до конца.
Так-то это так, а на поверку
не скучали.
Вспомни хоть сейчас,
как купила мама этажерку,
сколько было радости у нас.
Столик переставь, кровати двигай,
шума и силенок не жалей.
Этажерка краше с каждой книгой,
с каждым переплетом веселей.
Скуки давешней как не бывало!

Стало быть, и вывод будет прост:
человеку нужно очень мало,
чтобы счастье встало в полный рост.

Девочка, а что такое счастье?
Разве разобрались мы с тобой?
Может, это значит — двери настежь,
в ветер окунуться с головой,
чтобы хвойный мир колол на ощупь
и горчил на вкус
и чтобы ты
в небо поднялась —
чего уж проще б! —
а потом спустилась с высоты.
Чтоб перед тобой вилась дорога,
ни конца, ни краю не видать.
Нам для счастья нужно очень много.
Столько, что и в сказке не сказать.

Если в сказке не сказать, так скажет
золотая песня, верный стих.
Пусть мечта земной тропинкой ляжет
у чиненых туфель твоих.
Все, за что товарищи боролись,
все, что увидеть Ильич хотел...
Чтоб уже не только через полюс —
вкруг планеты Чкалов полетел.
Чтобы меньше уставала мама
за проверкой письменных работ.
Чтоб у гор Сиерра-Гвадаррама
победил неистовый народ.
Чтоб вокруг сливались воедино
вести из газет, мечты и сны.
И чтобы папанинская льдина
доплыла отважно до весны.

Стала жизнь богатой и веселой,
ручейком прозрачным потекла.
Окнами на юг стояла школа,

вся из света, смеха и стекла.
Места много, мир еще не тесен.
Вечностью сдается каждый миг.
С каждым днем ты знаешь больше песен,
с каждым днем читаешь больше книг.
Девочка, ты все чему-то рада,
все взволнованней, чем день назад.
Ты еще не знаешь Ленинграда!
Есть еще на свете Ленинград!

Горячась, не уступая, споря,
милая моя, расти скорей!
Ты еще не видывала моря,
а у нас в Союзе сто морей.
Бегай по земле, не знай покоя,
все спеши увидеть и понять.
Ты еще не знаешь, что такое
самого любимого обнять.

Дверь толкнешь — и встанешь у порога.
Все-то мы с утра чего-то ждем.
Нам для счастья нужно очень много.
Маленького счастья не возьмем.
Горы на пути — своротим гору,
вычерпаем реки и моря.
Вырастай такому счастью впору,
девочка богатая моя.

И встал перед ней переполненный мир,
туманен и солнечен, горек и сладок,
мир светлых садов, коммунальных квартир,
насушных забот, постоянных нехваток,
различных поступков и разных людей.
Он встал перед ней и велел ей пробиться
сквозь скуку продмаговских очередей,
сквозь длинную склоку квартирных традиций.
Он встал перед ней, ничего не тая,

во всей своей сущности, трезвой и черствой.

И тут начинается правда твоя,
твое знаменитое единоборство.

Правда твоя.

Погоди, не спеши.

Ты глянула вдаль не по-детски сурово,
когда прозвучало в твоей тиши
это тяжелое русское слово.

Не снисходящее ни до чего,
пристрастное и неподкупное право.

Звучит это слово,

как будто его

Ильич произносит чуть-чуть картаво.

И столько в нем сухого огня,
что мне от него заслониться нечем,
как будто бы это взглянул на меня

Дзержинский,

накинув шинель на плечи.

И этому слову навеки дано

быть нашим знаменем и присягой.

Издали пахнет для нас оно

печатною краской, газетной бумагой.

Так вот ты какой выбираешь путь!

А что, если знаешь о нем понаслышке?

Он тяжкий.

Захочется отдохнуть,

но нет и не будет тебе передышки.

Трудна будет доля твоя, трудна.

Когда ты с прикушенной губою

из школы уходишь домой одна,

не зная, что я слежу за тобою,

или когда отвернешься вдруг,

чтобы никто не увидел, глотая

упрек педагога, насмешку подруг,

не видя, что я за тобой наблюдаю,

я подойду и скажу тебе:

— Что ж,
устала, измучилась, стала угрюмой.
А может, уже поняла: не дойдешь.
Пока еще можно свернуть, подумай.
Недолго в твои молодые лета
к другим, не к себе, относиться строже.
Есть прямолинейность и прямота,
но это совсем не одно и то же.
Подруги боятся тебя чуть-чуть,
им неуютно и трудно с тобою.
Подумай: ты вынесешь этот путь?
Сумеешь пробиться ценою любой?

Но этот настойчивый, пристальный свет
глаз, поставленных чуточку косо.
Но ты подымаешься мне в ответ,
и стыдно становится мне вопроса.
И сделалась правда повадкой твоей,
порывом твоим и движеньем невольным
в беседах со взрослыми,
в играх детей,
в раздумьях твоих и в кипении школьном.
Как облачко в небе,
как след от весла,
твоя золотистая юность бежала.
Твоя пионерская правда росла,
твоя комсомольская правда мужала.
И шла ты походкой, летящей вперед,
в тебе приоткрытое ясное завтра,
и над тобою, как небосвод,
сияла твоя большевистская правда.

И, устав от скучного предмета,
о своем задумаешься ты.
...Кончатся зачеты.
Будет лето.
Сбивчивые пестрые мечты...

Ты отложишь в сторону тетрадку.
Пять минут потерпит! Не беда!
Ну, давай сначала,
по порядку.
Будет все, как в прошлые года.
По хозяйству сделать все, что надо,
и прибраться наскоро в дому,
убежать в березы палисада,
в желтую сквозную кутерьму.
И кусок косо́й недолгой тени
в солнечном мельканье отыскать,
и, руками охватив колени,
книжку интересную читать.
Тени листьев, солнечные пятна...
Голова закружится на миг.
У тебя составлен аккуратно
длинный список непрочтенных книг.
Сколько их!
Народы, судьбы, люди...
С ними улыбаться и дрожать.
Быть собой и знать, что с ними будет,
с ними жить и с ними умирать.
Сделаться сильнее и богаче,
с ними ненавидя и любя.

Комнатка на коммунальной даче
стала целым миром для тебя.
Вглядываться в судьбы их и лица,
видеть им невидимую нить.
У одних чему-то научиться
и других чему-то научить.
Научить чему-то.
Но чему же?
Прямо в душу каждого взглянуть,
всех проверить, всем раздать оружие,
всех построить и отправить в путь.
Жить судьбою многих в каждом миге,
помогать одним, винить других...

Только разве так читают книги?
Так, пожалуй, люди пишут их.
Может быть.
И ты посмотришь прямо
странными глазами.
Может быть...
С тайною тревогой спросит мама:
— Ты решила, кем ты хочешь быть?
Кем ты хочешь быть!
И сердце взмлет
прямо в небо.
Непечатый край
дел на свете.
Мир тебе откроет
все свои секреты.
Выбирай!

Есть одно,
заветное,
большое, —
как бы только путь к нему открыть?
До краев наполненной душою
обо всем с другими говорить,
Это очень много, понимаешь?
Силой сердца, воли и ума
людям открывать все то, что знаешь
и во что ты веруешь сама.
Заставлять их жить твоей тревогой,
выбирать самой для них пути.
Но откуда, как, какой дорогой
к этому величию прийти?

Можно стать учительницей в школе.
Этим ты еще не увлеклась?
Да, но это только класс, не боле.
Это мало, если только класс.
Встать бы так, чтоб слышны стали людям
сказанные шепотом слова.

Этот путь безжалостен и труден.
Да, но это счастье.
Ты права.
Ты права, родная, это счастье —
все на свете словом покорить.
Чтоб в твоей неоспоримой власти
было с целым миром говорить,
чтобы слово музыкой звучало,
деревом диковинным росло,
как жестокий шквал, тебя качало,
как ночной маяк, тебя спасло,
чтобы все, чем ты живешь и дышишь,
ты могла произнести всегда,
а потом спросила б землю:
— Слышишь? —
И земля в ответ сказала б:
— Да.

Как пилот к родному самолету,
молчаливый, собранный к полету,
трезвый и хмелеющий идет,
так и я иду в свою работу,
в каждый свой рискованный полет.
И опять я счастлива, и снова
песней обернувшееся слово
от себя самой меня спасет.
(Путник, возвращаясь издалека,
с трепетом глядит из-под руки —
так же ли блестят из милых окон
добрые, родные огоньки.

И такая в нем дрожит тревога,
что передохнуть ему нельзя.
Так и я взглянула от порога
в долгожданные твои глаза.

Но война кровава и жестока,
и, вернувшись с дальнего пути,
можно на земле

ни милых окон,
ни родного дома не найти.

Но осталась мне моя отвага,
тех, что не вернутся, голоса
да еще безгрешная бумага,
быстролетной песни паруса.)

Так и проходили день за днем.
Жизнь была обычной и похожей.
Только удивительным огнем
проступала кровь под тонкой кожей.
Стал решительнее очерк рта,
легче и взволнованней походка,
и круглее сделалась черта
детского прямого подбородка.
Только, может, плечики чуть-чуть
по-ребячьи вздернуты и узки,
но уже девическая грудь
мягко подымает ситец блузки.
И еще непонятая власть
в глубине зрачков твоих таится.
Как же это должен свет упасть,
как должны взлететь твои ресницы,
как должна ты сесть или привстать,
тишины своей не нарушая?
Только вдруг всплеснет руками мать:
— Девочка, да ты совсем большая!
Или, может, в солнечный денек,
на исходе памятного мая,
ты из дому выбежишь, дружок,
на бегу на цыпочки вставая,
и на старом платице твоём
кружево черемуховой ветки.

— Зоя хорошеет с каждым днем, —
словом перекинутся соседки.

В школьных коридорах яркий свет.
Ты пройдешь в широком этом свете.
Юноша одних с тобою лет удивится,
вдруг тебя заметив.
Вздрагнет, покраснеет, не поймет.
Сколько лет сидели в классе рядом,
спорили, не ладили...

И вот
глянула косым коротким взглядом,
волосы поправила рукой,
озаренная какой-то тайной.
Так когда ж ты сделалась такой —
новой, дорогой, необычайной?
Нет, совсем особенной, не той,
что парнишку мучила ночами.
Не жемчужною киномечтой,
не красоткой с жгучими очами.
— Что ж таится в ней?
— Не знаю я.
— Что, она красивая?
— Не знаю.
Но, - какая есть, она — моя,
золотая,
ясная,
сквозная.-
И увидит он свою судьбу
в девичьей летающей походке,
в прядке, распушившейся на лбу,
в ямочке на круглом подбородке.

(Счастье, помноженное на страданье,
в целом своем и дадут, наконец,
это пронзительное, как рыданье,
тайное соединение сердец.
Как началось оно?
Песнею русской?
Длинной беседой в полуночный час?

Или таинственной улочкой узкой,
никому не ведомой, кроме нас?
Хочешь —
давай посмеемся, поплачем!
Хочешь —
давай пошумим,
помолчим!
Мы — заговорщики.
Сердцем горячим
я прикоснулась к тебе в ночи.)

Вот они — дела!
А как же ты?
Сердца своего не понимая,
ты жила.
Кругом цвели цветы,
наливались нивы силой мая.
Травы просыпались ото сна,
все шумнее делалась погода,
и стояла поздняя весна
твоего осьмнадцатого года.
За пронзенной солнцем пеленой
та весна дымилась пред тобою
странною, неназванной, иной,
тайной и заманчивой судьбою.
Что-то будет!
Скоро ли?
А вдруг!
Тополя цветут по Подмосковью,
и природа светится вокруг
странным светом,
может быть, любовью.

Ну вот.
Такой я вижу Зою
в то воскресенье, в полдне там,
когда военною грозою

пахнуло в воздухе сухом.
Теперь, среди военных буден,
в часок случайной тишины,
охотно вспоминают люди
свой самый первый день войны.
До мелочей припоминая
свой мир,
свой дом,
свою Москву,
усмешкой горькой прикрывая
свою обиду и тоску.

Ну что ж, друзья!
Недолюбили,
недоработали,
не так,
как нынче хочется, дожили
до первых вражеских атак.
Но разве мы могли б иначе
на свете жить?
Вины ничьей
не вижу в том, что мы поплачем,
бывало, из-за мелочей.
Мы все-таки всерьез дружили,
любили, верили всерьез.
О чем жалеть?
Мы славно жили,
как получилось, как пришлось.
Но сразу
вихрь,
толчок,
минута,
и, ничего не пощадив,
на полутоне сорван круто
с трудом налаженный метив.
Свинцовым зноем полыхнуло,
вошло без стука в каждый дом
и наши окна зачеркнуло

чумным безжалостным крестом.
Крест-накрест синие полосы
на небо, солнце и березки,
на наше прошлое легли,
чтоб мы перед собой видали
войной зачеркнутые дали,
чтоб мы забыться не могли.
Глаза спросонок открывая,
когда хлестнет по окнам свет,
мы встрепаемся, вспоминая,
что на земле покоя нет.
Покоя нет и быть не может.
Окно как раненая грудь.
Нехитрый путь доньше прожит.
Отныне начат новый путь.
Все в мире стало по-другому.
Неверен шум, коварна тишь.
Ты выйдешь вечером из дому,
вокруг пытливо поглядишь.
Но даже в этой старой даче,
в тревожный погруженной мрак,
все изменилось, все иначе,
еще никто не знает как.

ВТОРАЯ ГЛАВА

С девятого класса, с минувшего лета,
у тебя была книжечка серого цвета.
Ее ты в отдельном кармане носила
и в месяц по двадцать копеек вносила.
Мы жили настолько свободно и вольно,
не помня о том, что бывает иначе,
что иногда забывали невольно,
что мы комсомольцы и что это значит.
Все праздником было веселым и дерзким,
жило нам на свете светло и просторно.

Развевалось детство костром пионерским,
растаяло утренней песенкой горна.

Вы в мирное время успели родиться,
суровых препятствий в пути не встречали,
но ритмом былых комсомольских традиций
сердца возмужавшие застучали.
И в знойные ночи военного лета
вы всей своей кровью почували это.

Еще тебе игр недоигранных жалко,
и книг непрочитанных жаль, и еще ты
припрячешь — авось пригодится — шпаргалку.
А вдруг еще будут какие зачеты!
Еще вспоминаешь в тоске неминуемой
любимых товарищей, старую парту...
Ты все это помнишь и любишь? Тем лучше.
Все это поставлено нынче на карту.
Настала пора, и теперь мы в ответе
за каждый свой взнос в комсомольском билете.
И Родина нынче с нас спрашивать вправе
за каждую букровку в нашем Уставе.
Тревожное небо клубится над нами.
Подходит война к твоему изголовью.
И больше нам взносы платить не рублями,
а может быть, собственной жизнью и кровью.

Притоптаным житом, листвою опалой,
сожженная солнцем, от пыли седая,
Советская Армия,
ты отступала,
на ноги истертые припадая.
Искрились волокна сухой паутины,
летели на юг неизменные гуси,
ты шла, покидая поля Украины,
ты шла, оставляя леса Беларуси.
А люди?
А дети?
Не буду, не буду...

Ты помнишь сама каждой жизнью своею.
Но кровь свою ты оставляла повсюду,
наверно затем, чтоб вернуться за нею.
О запах шинельного черного пота!
О шарканье ног по кровавому следу!
А где-то уже подхихикивал кто-то,
трусливо и жалко пиная победу.
Как страшно и горько подумать,
что где-то уже суетились, шипя и ругая...
О чем ты?
Не вздрагивай, девочка, это
не те, за кого ты стоишь, дорогая.

Нет, это не те, чьи любимые люди
в окопах лежат у переднего края,
что в лад громыханью советских орудий
и дышат и верят,
Не те, дорогая.
Нет, это не те, что в казенном конверте,
в бессильных, неточных словах извещенья
услышали тихое сердце бессмертья,
увидели дальнее зарево мщенья.
Нет, это не те, что вставали за Пресню,
Владимирским трактом в Сибирь уходили,
что плакали, слушая русскую песню,
и пушкинский стих, как молитву, твердили,
Они — это нелюди, копоть и плесень,
мышинные шумы, ухмылки косые.
И нет у них родины, нет у них песен,
и нет у них Пушкина и России!
Но Зоя дрожит и не знает покоя,
от гнева бледнея,
от силы темнея:
«Мне хочется что-нибудь сделать такое,
чтоб стала победа слышней и виднее!»

Стояло начало учебного года.
Был утренний воздух прохладен и сладок.

Кленовая, злая, сухая погода,
шуршание листьев и шорох тетрадок.
Но в этом учебном году по-другому.
Зенитки, взведенные в сквериках рыжих.
В девятом часу ты выходишь из дому,
совсем налегке,
без тетрадок и книжек.
Мне эта дорога твоя незнакома.
В другой стороне двести первая школа.
Осенней Москвой, по путевке райкома,
идет комсомолка в МК комсомола.
Осенней Москвою,
октябрьской Москвою...
Мне видится взгляд твой, бессонный и жесткий,
Я только глаза от волнения закрою
и сразу увижу твои перекрестки.
Душе не забыть тебя,
сердцу не бросить,
как женщину в горе,
без маски, без позы.
Морщины у глаз,
промелькнувшая проседь,
на горьких ресницах повисшие слезы.
Все запахи жизни, проведенной вместе,
опять набежали, опять налетели,-
обрызганной дождем кровельной жести
и острой листвы, отмеченной к панели.
Все двигалось,
шло,
продолжалась работа,
и каждая улица мимо бежала.
Но тихая, тайная, тонкая нота
в осенних твоих переулках дрожала.
Звенели твои подоженные клены,
но ты утешала их теплой рукою.
Какой же была ты тогда?
Оскорбленной?
Страдающей?

Плачущей?
Нет, не такую.
Ты за ночь одну на глазах возмужала,
собралась,
ремни подтянула потуже.
Как просто заводы в тайгу провожала
и между бойцами делила оружие.
Какою ты сделалась вдруг деловитой.
Рассчитаны, взвешены жесты и взгляды.
Вколочены рельсы,
и улицы взрыты,
и в переулках стоят баррикады.
Как будто с картины о битвах на Пресне,
которая стала живой и горячей.
И нету похожих стихов или песни.
Была ты
Москвой —
и не скажешь иначе.
И те, кто родился на улицах этих
и здесь, на глазах у Москвы, подрастали,
о ком говорили вчера, как о детях,
сегодня твоими солдатами стали.
Они не могли допустить, чтоб чужая
железная спесь их судьбу затоптала.
А там,
у Звенигорода,
у Можая,
шла грозная битва людей и металла.
В твоих переулках росли баррикады.
Железом и рвами Москву окружали.
В МК
отбирали людей в отряды.
В больших коридорах
толпились, жужжали
вчерашние мальчики, девочки, дети,
встревоженный рой золотого народа.
Сидел молодой человек в кабинете,
москвич октября сорок первого года.

Пред ним проходили повадки и лица.
Должно было стать ему сразу понятно,
который из них безусловно годится,
которого надо отправить обратно.
И каждого он оглядывал сразу,
едва появлялся тот у порога,
улавливал еле заметные глазу смущенье,
случайного взгляда тревогу.
Он с разных сторон их старался увидеть,
от гнева в глазах до невольной улыбки,
смутить,
ободрить,
никого не обидеть,
любою ценою не сделать ошибки.
Сначала встречая, потом провожая,
иных презирал он,
гордился другими.
Вопросы жестокие им задавая,
он сам себя тоже опрашивал с ними.
И если ответить им было нечем,
и если они начинали теряться,
он всем своим юным чутьем человеческим
до сути другого старался добраться.
Октябрьским деньком, невысоким и мгlistым,
в Москве, окруженной немецкой подковой,
товарищ Шелепин,
ты был коммунистом
со всей справедливостью нашей суровой.
Она отвечала сначала стоя,
сдвигая брови при каждом ответе:
— Фамилия?
— Космодемьянская.
— Имя?
— Зоя.
— Год рождения?
— Двадцать третий.
Потом она села на стул.
А дальше

следил он, не кроется ли волнение,
и нет ли рисовки,
и нет ли фальши,
и нет ли хоть крошечного сомненья.

Она отвечала на той же ноте.

— Нет, не заблудится.

— Нет, не боится.

И он, наконец, записал в блокноте
последнее слово свое:

«Годится».

Заметил ли он на ее лице
играющий отблеск далекого света?

Ты не ошибся
в этом бойце,
секретарь Московского Комитета.

Отгорели жаркие леса,
под дождем погасли листья клена.

Осень поднимает в небеса
отсыревшие свои знамена.

Но они и мокрые горят,
занимаясь с западного края.

Это полыхает не закат,
это длится бой, не угасая.

Осень, осень. Век не позабудь
тихий запах сырости и тленья,
выбитый, размытый, ржавый путь,
мокрые дороги отступленья,
и любимый город без огня,
и безлюдных улочек морщины...

Ничего, мы дожили до дня
самой долгожданной годовщины.

И возник из ветра и дождя
смутного, дымящегося века
гордый голос нашего вождя,
утомленный голос человека.

Длинный фронт — живая полоса
человечьих судеб и металла.
Сквозь твоих орудий голоса
слово невредимым пролетало.
И разноязыкий пестрый тыл,
зной в Ташкенте, в Шушенском — поземка.
И повсюду Сталин говорил,
медленно, спокойно и негромко.

Как бы мне надежнее сберечь
вечера того любую малость?
Как бы мне запомнить эту речь,
чтоб она в крови моей осталась?
Я запомню неотступный взгляд
вставшей в строй московской молодежи
и мешки арбатских баррикад —
это, в сущности, одно и то же.
Я запомню старого бойца,
ставшего задумчивей и строже,
и сухой огонь его лица —
это, в сущности, одно и то же.
Он сказал:
— Победа!
Будет так.
Я запомню, как мой город ожил,
сразу став и старше и моложе,
первый выстрел наших контратак —
это, в сущности, одно и то же.
Это полновесные слова
невесомым схвачены эфиром.
Это осажденная Москва
гордо разговаривает с миром.
Дети командиров и бойцов,
бурей разлученные с отцами,
будто голос собственных отцов,
этот голос слушали сердцами.
Жены, проводившие мужей,

не заплакавшие на прощанье,
в напряженной тишине своей
слушали его, как обещанье.
Грозный час.
Жестокая пора.
Севастополь. Ночь. Сапун-гора
тяжело забылась после боя.
Длинный гул осеннего прибоя.
Только вдруг взорвались рупора.
Это Сталин говорит с тобою.
Ленинград безлюдный и седой.
Кировская воля в твердом взгляде.
Встретившись лицом к лицу с бедой,
Ленинград не молит о пощаде.
Доживешь?
Дотерпишь?
Достоишь?
Достою, не сдамся!
Расколосась
чистая, отчетливая тишь,
и в нее ворвался тот же голос.
Между ленинградскими
домами о фанеру, мрамор и гранит
бился голос сильными крылами.
Это Сталин с нами говорит.
Предстоит еще страданий много,
но твоя отчизна победит.
Кто сказал:
«Воздушная тревога!»?
Мы спокойны — Сталин говорит.

Что такое радиоволна?
Это колебания эфира.
Это значит — речь его слышна
отовсюду, в разных точках мира.
Прижимают к уху эбонит
коммунисты в харьковском подполье.
Клонится березка в чистом поле...

Это Сталин с нами говорит.

Что такое радиоволна?
Я не очень это понимаю.

Прячется за облако луна.
Ты бежишь, кустарники ломая.
Все свершилось. Все совсем всерьез.
Ты волочишь хвороста вязанку.
Между расступившихся берез
ветер настигает партизанку.
И она, вступая в лунный круг,
ветром захлебнется на минуту.
Что со мною приключилось вдруг?
Мне легко и славно почему-то.

Что такое радиоволна?
Ветер то московский —
ты и рада.
И, внезапной радости полна,
Зоя добежала до отряда.

Как у нас в лесу сегодня сыро!
Как ни бейся, не горит костер.
Ветер пальцы тонкие простер.
Может быть, в нем та же дрожь эфира?
Только вдруг как вспыхнула береста!
Это кто сказал, что не разжечь?
Вот мы и согрелись!
Это просто
к нам домчалась сталинская речь.
Будет день большого торжества.
Как тебе ни трудно — верь в победу!

И летит осенняя листва
по ее невидимому следу.

За остановившейся рекою

партизаны жили на снегу.
Сами отрешившись от покоя,
не давали отдыха врагу.
Ко всему привыкнешь понемногу.
Жизнь прекрасна! Горе — не беда!
Разрушали, где могли, дорогу,
резали связные провода.
Начались декабрьские метели.
Дули беспощадные ветра.
Под открытым небом три недели,
греясь у недолгого костра,
спит отряд, и звезды над отрядом...
Как бы близко пуля ни была,
если даже смерть почти что рядом,
люди помнят про свои дела,
думают о том, что завтра будет,
что-то собираются решить.
Это правильно.
На то мы люди.
Это нас спасает, может быть.

И во мраке полночи вороньей
Зоя вспоминает в свой черед:
«Что там в Тимирязевском районе?
Как там мама без меня живет?
Хлеб, наверно, ей берет соседка.
Как у ней с дровами?
Холода!
Если дров не хватит, что тогда?»

А наутро донесла разведка,
что в селе Петрищеве стоят,
отдыхают вражеские части.
— Срок нам вышел, можно и назад.
Можно задержаться. В нашей власти.
— Три недели мы на холоду.
Отогреться бы маленько надо .-
Смотрит в землю командир отряда.

И сказала Зоя:
— Я пойду.
Я еще нисколько не устала.
Я еще успею отдохнуть.
Как она негаданно настала,
жданная минута.
Добрый путь!
Узкая ладошка холодна —
от мороза или от тревоги?
И уходит девочка одна
по своей безжалостной дороге.

* * *

Тишина, ах, какая стоит тишина!
Даже шорохи ветра нечасты и глухи.
Тихо так, будто в мире осталась одна
эта девочка в ватных штанах и треухе.
Значит, я ничего не боюсь и смогу
сделать все, что приказано...
Завтра не близко.
Догорает костер, разожженный в снегу,
и последний, дымок его стелется низко.
Погоди еще чуточку, не потухай.
Мне с тобой веселей. Я согрелась немного.
Над Петрищевом — три огневых петуха.
Там, наверное, шум, суета и тревога.
Это я подожгла!
Это я!
Это я!
Все исполню, верна боевому приказу.
И сильнее противника воля моя,
и сама я невидима вражьему глазу.
Засмеяться?
Запеть?
Погоди, погоди!..
Вот когда я с ребятами встречусь, когда я..,

Сердце весело прыгает в жаркой груди,

и счастливей колотится кровь молодая.

Ах, какая большая стоит тишина!
Приглушенные елочки к шороху чутки.

Как досадно, что я еще крыл лишена.
Я бы к маме слетала хоть на две минутки.

Мама, мама,
какой я была до сих пор?
Может быть, недостаточно мягкой и нежной?
Я другою вернусь.
Догорает костер.
Я одна остаюсь в этой полночи снежной.
Я вернусь,
я найду себе верных подруг,
стану сразу доверчивей и откровенней...

Тишина, тишина нарастает вокруг.
Ты сидишь, обхвативши руками колени.
Ты одна.
Ах, какая стоит тишина!..
Но не верь ей, прислушайся к ней, дорогая.
Тихо так, что отчетливо станет слышна
вся страна,
вся война,
до переднего края.
Ты услышишь все то, что не слышно врагу.
Под защитным крылом этой ночи вороньей
заскрипели полозья на крепком снегу,
тащат трудную тягу разумные кони.
Мимо сосенок четких и лунных берез,
через линию фронта, огонь и блокаду,
нагруженный продуктами красный обоз
осторожно и верно ползет к Ленинграду.
Люди, может быть, месяц в пути, и назад
не вернет их ни страх, ни железная сила.
Это наша тоска по тебе, Ленинград,
наша русская боль из немецкого тыла.

Чем мы можем тебе хоть немного помочь?
Мы пошлем тебе хлеба, и мяса, и сала.

Он стоит,
погруженный в осадную ночь,
этот город,
которого ты не видала.
Он стоит под обстрелом чужих батарей.
Рассказать тебе, как он на холоде дышит?
Про его матерей,
потерявших детей
и тащивших к спасенью чужих ребятишек.
Люди поняли цену того, что зовут
немудреным таинственным именем
жизни, и они исступленно ее берегут,
потому что — а вдруг? — пригодится Отчизне,
Это проще — усталое тело сложить,
никогда и не выйдя к переднему краю.
Слава тем, кто решил до победы дожить!
Понимаешь ли, Зоя?
— Я все понимаю.
Понимаю.
Я завтра проникну к врагу,
и меня не заметят,
не схватят,
не свяжут.
Ленинград, Ленинград!
Я тебе помогу.
Прикажи мне!
Я сделаю все, что прикажут...
И как будто в ответ тебе,
будто бы в лад
застучавшему сердцу услышь канонаду.
На высоких басах начинает Кронштадт,
и Малахов курган отвечает Кронштадту.
Проплывают больших облаков паруса
через тысячи верст человеческого горя.
Артиллерии русской гремят голоса

от Балтийского моря до Черного моря.

Севастополь.

Но как рассказать мне о нем?

На светящемся гребне девятого вала
он причалил к земле боевым кораблем,
этот город,

которого ты не видала.

Сходят на берег люди. Вздыхает вода.

Что такое геройство?

Я так и не знаю.

Севастополь...

Давай помолчим...

Но тогда,

понимаешь, он был еще жив.

— Понимаю!

Понимаю.

Я завтра пойду и зажгу

и конюшни и склады согласно приказу.

Севастополь, я завтра тебе помогу!

Я ловка и невидима вражьему глазу.

Ты невидима вражьему глазу.

А вдруг...

Как тогда?

Что тогда?

Ты готова на это?

Тишина, тишина нарастает вокруг.

Подымается девочка вместо ответа.

Далеко-далеко умирает боец...

Задыхается мать, исступленно рыдая,
страшной глыбой заваленный, стонет отец,
и сирот обнимает вдова молодая.

Тихо так, что ты все это слышишь в ту ночь,
потрясенной планеты взволнованный житель:

— Дорогие мои, я хочу вам помочь!

Я готова.

Я выдержу все.

Прикажите!

А кругом тишина, тишина, тишина...
И мороз,
не дрожит,
не слабеет,
не тает..,
И судьба твоя завтрашним днем решена.
И дыханья
и голоса
мне не хватает.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Вечер освещен сияньем снега.
Тропки завалило, занесло.
Запахами теплого ночлега
густо дышит русское село.

Путник, путник, поверни на запах,
в сказочном лесу не заблудись.
На таинственных еловых лапах
лунной бархоною снег повис.

Мы тебя, как гостя, повстречаем.
Место гостю красное дадим.
Мы тебя согреем крепким чаем,
молоком душистым напоим.

Посиди, подсолнушки полузгай.
Хорошо в избе в вечерний час!
Сердцу хорошо от ласки русской.
Что же ты сторонишься от нас?

Будто все, как прежде.
Пышет жаром
докрасна натопленная печь.
Но звучит за медным самоваром
непевучая, чужая речь.

Грязью перепачканы овчины.
Людам страшно, людам смерть грозит,
И тяжелым духом мертвечины
от гостей непрошенных разит.

Сторонись от их горючей злобы.
Обойди нас,
страшен наш ночлег.
Хоронись в лесах, в полях, в сугробах,
добрый путник, русский человек.

Что же ты идешь, сутуля плечи?
В сторону сворачивай скорей!
Было здесь селенье человечье,
а теперь здесь логово зверей.
Были мы радушны и богаты,
а теперь бедней худой земли.

В сумерки
немецкие солдаты
путника
к допросу привели.

* * *

Как собачий лай, чужая речь.
...Привели ее в избу большую.
Куртку ватную сорвали с плеч.
Старенькая бабка топит печь.
Пламя вырывается, бушует...
Сапоги с трудом стянули с ног.
Гимнастерку сняли, свитер сняли.
Всю, как есть,
от головы до ног,
всю обшарили и обыскали.
Малые ребята на печи притаились,
смотрят и не дышат.
Тише, тише, сердце, не стучи,
пусть враги тревоги не услышат.
Каменная оторопь — не страх.

Плечики остры, и руки тонки.
Ты осталась в стеганых штанах
и в домашней старенькой кофтенке.
И на ней мелькают там и тут
мамины заштопки и заплатки,
и родные запахи живут
в каждой сборочке и в каждой складке.
Все, чем ты дышала и росла,
вплоть до этой кофточки измятой,
ты с собою вместе принесла —
пусть глядят фашистские солдаты.
Постарался поудобней сесть
офицер,
бумаги вынимая.
Ты стоишь пред ним, какая есть, —
тоненькая,
русская,
прямая.
Это все не снится, все всерьез.
Вот оно надвинулось, родная.
Глухо начинается допрос.
— Отвечай!
— Я ничего не знаю.-
Вот и все.
Вот это мой конец.
Не конец. Еще придется круто.
Это все враги,
а я — боец.
Вот и наступила та минута.
— Отвечай, не то тебе капут! —
Он подходит к ней развалкой пьяной.
— Кто ты есть и как тебя зовут?
Отвечай!
— Меня зовут Татьяной.

* * *

(Можно мне признаться?
Почему-то

ты еще родней мне оттого,
что назвалась в страшную минуту
именем ребенка моего.
Тоненькая смуглая травинка,
нас с тобой разбило, разнесло.
Унесло тебя, моя кровинка,
в дальнее татарское село.
Как мне страшно!..
Только бы не хуже.
Как ты там, подруженька, живешь?
Мучаешь кота,
купаешь куклу в луже,
прыгаешь и песенки поешь.
Дождь шумит над вашими полями,
облака проходят над Москвой,
и гудит пространство между нами
всей моей беспомощной тоской.
Как же вышло так, что мы не вместе?
Длинным фронтом вытянулся бой.
Твой отец погиб на поле чести.
Мы одни на свете,
я — с тобой.
Почему же мы с тобою розно?
Чем же наша участь решена?
Дымен ветер,
небо дышит грозно,
требует ответа тишина.
Начинают дальние зенитки,
и перед мучителем своим
девочка молчит под страхом пытки,
называясь именем твоим.

Родина,
мне нет другой дороги.
Пусть пройдут, как пули, сквозь меня
все твои раненья и тревоги,
все порывы твоего огня!
Пусть во мне страданьем отзовется

каждая печаль твоя и боль.
Кровь моя твоим порывом бьется.
Дочка,
отпусти меня,
позволь.
Все, как есть, прости мне, дорогая.
Вырастешь, тогда поговорим.
Мне пора!
Горя и не сгорая,
терпит пытку девочка другая,
называясь именем твоим.)

Хозяйка детей увела в закут.
Пахнет капустой, скребутся мыши.
— Мама, за что они ее бьют?
— За правду, доченька. Тише, тише.
— Мама, глянь-ка в щелочку, глянь:
у нее сорочка в крови.
Мне страшно, мама, мне больно!..
— Тише, доченька, тише, тише...
— Мама, зачем она не кричит?
Она небось железная?
Живая бы давно закричала.
— Тише, доченька, тише, тише...
— Мама, а если ее убьют,
стадо быть, правду убили тоже?
— Тише, доченька, тише...-
Нет!
Девочка, слушай меня без дрожи.
Слушай,
тебе одиннадцать лет.

Если ни разу она не заплачет,
что бы ни делали изверги с ней,
если умрет,
но не сдастся —
значит,

правда ее даже смерти сильнее.
Лучшими силами в человеке
я бы хотела тебе помочь,
чтобы запомнила ты навеки
эту кровавую, страшную ночь.
Чтобы чудесная Зоина сила,
как вдохновенье, тебя носила,
стала бы примесью крови твоей.
Чтобы, когда ты станешь большою,
сердцем горячим,
верной душою
ты показала, что помнишь о ней.

* * *

Неужели на свете бывает вода?
Может быть, ты ее не пила никогда
голубыми,
большими, как небо,
глотками?
Помнишь, как она сладко врывается в рот?
Ты толкаешь ее языком и губами,
и она тебе в самое сердце течет.
Воду пить...
Вспомни, как это было.
Постой!
Можно пить из стакана —
и вот он пустой.
Можно черпать ее загорелой рукою.
Можно к речке сбежать,
можно к луже припасть,
и глотать ее,
пить ее,
пить ее всласть.
Это сон,
это бред,
это счастье такое!
Воду пьешь, словно русскую песню поешь,
словно ветер глотаешь над лунной рекою.

Как бы славно, прохладно она потекла...
— Дайте пить...-
истомленная девушка просит,
Но горящую лампочку, без стекла,
к опаленным губам ее изверг подносит.
Эти детские губы,
сухие огни,
почерневшие, стиснутые упрямо.
Как недавно с усилием лепили они
очень трудное,
самое главное —
«мама».
Пели песенку,
чуть шевелились во сне,
раскрывались, взволнованы страшною сказкой,
перепачканы ягодами по весне,
выручали подругу удачной подсказкой.
Эти детские губы,
сухие огни,
своевольно очерчены женскою силой.
Не успели к другим прикоснуться они,
никому не сказали
«люблю»
или
«милый».
Кровяная запекшаяся печать.
Как они овладели святою наукой
не дрожать,
ненавидеть,
и грозно молчать,
и надменной сжиматься под смертною мукой.
Эти детские губы,
сухие огни,
воспаленно тоскующие по влаге,
без движенья,
без шороха
шепчут они,
как признание, слово бойцовой присяги.

* * *

Стала ты под пыткой Татьяной,
онемела, замерла без слез. Босиком,
в одной рубашке рваной
Зою выгоняли на мороз.
И своей летающей походкой
шла она под окриком врага.
Тень ее, очерченная четко,
падала на лунные снега:

Это было все на самом деле,
и она была одна, без нас.
Где мы были?
В комнате сидели?
Как могли дышать мы в этот час?
На одной земле,
под тем же светом,
по другую сторону черты?
Что-то есть чудовищное в этом.
— Зоя, это ты или не ты?
Снегом запорошенные прядки
коротко остриженных волос.
— Это я,
не бойтесь,
все в порядке.
Я молчала.
Кончился допрос.
Только б не упасть, ценой любой...
— Окрик:
— Рус! —
И ты идешь назад.
И опять глумится над тобою
гитлеровской армии солдат.
Русский воин,
юноша, одетый
в справедливую шинель бойца,
ты обязан помнить все приметы
этого звериного лица.

Ты его преследовать обязан,
как бы он ни отступал назад,
чтоб твоей рукою был наказан
гитлеровской армии солдат,
чтобы он припомнил, умирая,
на снегу кровавый Зоин след.

Но постой, постой, ведь я не знаю
всех его отличий и примет.
Малого, большого ль был он роста?
Черномазый,
рыжий ли?
Бог весть!
Я не знаю. Как же быть?
А просто.
Бей любого!
Это он и есть.
Встань над ним карающей грозой.
Твердо помни:
это он и был,
это он истерзанную Зою
по снегам Петрищева водил.
И куда собственной рукою
ты его не свалишь наповал,
я хочу, чтоб счастья и покоя
воспаленным сердцем ты не знал.
Чтобы видел,
будто бы воочью,
русское село —
светло как днем.
Залит мир декабрьской лунной ночью,
пахнет ветер дымом и огнем.
И уже почти что над снегами,
легким телом устремись вперед,
девочка
последними шагами
босиком в бессмертие идет.

* * *

Коптящая лампа, остывшая печка.
Ты спишь или дремлешь, дружок?
...Какая-то ясная-ясная речка,
зеленый крутой бережок.

Приплыли к Марусеньке серые гуси,
большими крылами шумят...
Вода достает по колено Марусе,
но белые ноги горят...
Вы, гуси, летите, воды не мутите,
пускай вас домой отнесет...
От песенки детской до пытки немецкой
зеленая речка течет.

Ты в ясные воды ее загляделась,
но вдруг повалилась ничком.
Зеленая речка твоя загорелась,
и все загорелось кругом.

Идите скорее ко мне на подмогу!
Они поджигают меня.
Трубите тревогу, трубите тревогу!
Спасите меня от огня!

Допрос ли проходит?
Собаки ли лают?
Все сбилось и спуталось вдруг.
И кажется ей, будто села пылают,
деревни пылают вокруг,
Но в пламени этом шаги раздаются.
Гремят над землею шаги.
И падают наземь,
и в страхе сдаются,
и гибнут на месте враги.
Гремят барабаны, гремят барабаны,
труба о победе поет.
Идут партизаны, идут партизаны,
железное войско идет.

Сейчас это кончится.
Боль прекратится.
Недолго осталось терпеть.
Ты скоро увидишь любимые лица,
тебе не позволят сгореть.
И вся твоя улица,
вся твоя школа
к тебе на подмогу спешит...

Но это горят не окрестные села —
избитое тело горит.
Но то не шаги, не шаги раздаются —
стучат топоры у ворот.
Сосновые бревна стоят и не гнутся.
И вот он готов, эшафот.

* * *

Лица неспавшиеся хмуры,
будто бы в золе или в пыли.
На рассвете из комендатуры
Зоину одежду принесли.
И старуха, ежась от тревоги,
кое-как скрывая дрожь руки,
на твои пылающие ноги
натянула старые чулки.
Светлым ветром память пробегала
по ее неяркому лицу:
как-то дочек замуж отдавала,
одевала бережно к венцу.
Жмурились от счастья и от страха,
прижимались к высохшей груди...
Свадебным чертогом встала плаха, —
голубица белая; гряди!

Нежили,
голубили,
растили,
а чужие провожают в путь,

— Как тебя родные окрестили?
Как тебя пред богом помянуть?

Девушка взглянула краем глаза,
повела ресницами верней...

Хриплый лай немецкого приказа —
офицер выходит из дверей.
Два солдата со скамьи привстали,
и, присев на хромоногий стул,
он спросил угрюмо:
— Где ваш Сталин?
Ты сказала:
— Сталин на посту.

Вдумайтесь, друзья, что это значит
для нее
в тот час,
в тот грозный год...
...Над землей рассвет еще плывет.
Дымы розовеют.
Это начат
новый день сражений и работ.
Управляясь с хитрыми станками,
в складке губ достойно скрыв печаль,
женщина домашними руками
вынимает новую деталь.
Семафоры,
рельсы,
полустанки,
скрип колес по мерзлому песку.
Бережно закутанные танки
едут на работу под Москву.
Просыпаются в далеком доме
дети, потерявшие родных.
Никого у них на свете, кроме
родины. Она согреет их.
Вымоет, по голове погладит,
валенки натянет,- пусть растут! —

молока нальет, за стол посадит.
Это значит — Сталин на посту,

Это значит:

вдоль по горизонту,
где садится солнце в облака,
по всему развернутому фронту
бой ведут советские войска.

Это значит:

до сердцебиенья,
до сухого жжения в груди
в черные недели отступленья
верить, что победа впереди.

Это значит:

наши самолеты
плавно набирают высоту.
Дымен ветер боя и работы.
Это значит — Сталин на посту.

Это значит:

вставши по приказу,
только бы не вскрикнуть при врагах, —
ты идешь,
не оступись ни разу,
на почти обугленных ногах.

* * *

Как морозно!
Как светла дорога,
утренняя, как твоя судьба!
Поскорей бы!
Нет, еще немного!
Нет, еще не скоро...
От порога...
по тропинке...
до того столба...
Надо ведь еще дойти дотуда,
этот длинный путь еще прожить...
Может ведь еще случиться чудо.

Где-то я читала...
Может быть!..
Жить...
Потом не жить...
Что это значит?
Видеть день...
Потом не видеть дня...
Это как?
Зачем старуха плачет?
Кто ее обидел?
Жаль меня?
Почему ей жаль меня?
Не будет
ни земли,
ни боли...
Слово «жить»...
Будет свет,
и снег,
и эти люди.
Будет все, как есть.
Не может быть!
Если мимо виселицы прямо
все идти к востоку — там Москва.
Если очень громко крикнуть: «Мама!»
Люди смотрят.
Есть еще слова...
— Граждане,
не стойте,
не смотрите!
(Я живая, - голос мой звучит.)
Убивайте их, травите, жгите!
Я умру, но правда победит!
Родина!-
Слова звучат, как будто
это вовсе не в последний раз.
— Всех не перевешать,
много нас!
Миллионы нас!..-

Еще минута
— и удар наотмашь между глаз.
Лучше бы скорей,
пускай уж сразу,
чтобы больше не коснулся враг.
И уже без всякого приказа
делает она последний шаг.
Смело поднимаешься сама ты.
Шаг на ящик,
к смерти
и вперед.
Вкруг тебя немецкие солдаты,
русская деревня,
твой народ.
Вот оно!
Морозно, снежно, мглисто.
Розовые дымы... Блеск дорог...
Родина!
Тупой сапог фашиста
выбивает ящик из-под ног.

* * *

(Жги меня, страдание чужое,
стань родною мукою моей.
Мне хотелось написать о Зое
так, чтоб задохнуться вместе с ней.
Мне хотелось написать про Зою,
чтобы Зоя начала дышать,
чтобы стала каменной и злою
русская прославленная мать.
Чтоб она не просто погрузила,
уронив слезинку на ладонь.
Ненависть — не слово,
это — сила,
бьющий безошибочно огонь.
Чтобы эта девочка чужая
стала дочкой тысяч матерей.
Помните о Зое, провожая

в путь к победе собственных детей.

Мне хотелось написать про Зою,
чтобы той, которая прочтет,
показалось: тропкой снеговой
в тыл врага сама она идет.
Под шинелью спрятаны гранаты.
Ей дано задание.
Все всерьез.
Может быть, немецкие солдаты
ей готовят пытку и допрос?
Чтоб она у совести спросила,
сможет ли,
и поняла:
«Смогу!»
Зоя о пощаде не просила.
Ненависть — не слово, это — сила,
гордость и презрение к врагу.
Ты, который встал на поле чести,
русский воин,
где бы ты ни был,
пожалей о ней, как о невесте,
как о той, которую любил.
Но не только смутною слезою
пусть затмится твой солдатский взгляд.
Мне хотелось написать про Зою так,
чтоб ты не знал пути назад.
Потому что вся ее отвага,
устремленный в будущее взгляд, —
шаг к победе,
может быть, полшага,
но вперед,
вперед, а не назад.
Шаг к победе —
это очень много.
Оглянись, подумай в свой черед
и ответь обдуманно и строго,
сделал ли ты этот шаг вперед?

Близкие,
товарищи,
соседи,
все, кого проверила война,
если б каждый сделал шаг к победе,
как бы к нам приблизилась она!
Нет пути назад!
Вставай грозюю.
Что бы ты ни делал, ты — в бою.

Мне хотелось написать про Зою,
будто бы про родину свою.
Вся в цветах, обрызганных росой,
в ярких бликах утренних лучей...
Мне хотелось написать про Зою
так, чтоб задохнуться вместе с ней.
Но когда в петле ты задыхалась,
я веревку с горла сорвала.
Может, я затем жива осталась
чтобы ты в стихах не умерла.)

* * *

Навсегда сохрани фотографию Зои.
Я, наверно, вовеки ее позабыть не смогу.
Это девичье тело,
не мертвое
и не живое.

Это Зоя из мрамора
тихо лежит на снегу.
Беспощадной петлей перерезана тонкая шея.
Незнакомая власть в запрокинутом лице твоём.
Так любимого ждут,
сокровенной красой хорошея,
изнутри озаряясь таинственным женским огнем.
Только ты не дождалась его, снеговая невеста.
Он — в солдатской шинели,
на запад лежит его путь,
может быть, недалеко от этого страшного места,

где ложились снежинки на строгую девичью грудь.
Вечной силы и слабости неповторимо единство.
Ты совсем холодна, а меня прожигает тоска.
Не ворвалось в тебя, - не вскипело в тебе материнство,
теплый ротик ребенка не тронул сухого соска.
Ты лежишь на снегу.
О, как много за нас отдала ты,
чтобы гордо откинуться чистым, прекрасным лицом!
За доспехи героя,
за тяжелые ржавые латы,
за святое блаженство быть храбрым бойцом.
Стань же нашей любимицей,
символом правды и силы,
чтоб была наша верность, как гибель твоя, высока.
Мимо твоей занесенной снегами могилы —
на запад, на запад! —
идут,
присягая,
войска.

ЭПИЛОГ

Когда страна узнала о войне,
в тот первый день,
в сумятице и бреде,
я помню, я подумала о дне,
когда страна узнает о победе.
Каким он будет, день великий тот?
Конечно, солнце!
Неприменно лето!
И наш любимый город зацветет
цветами электрического света.
И столько самолетов над Москвой,
и город так волнующе чудесен,
и мы пойдем раздвинутой Тверской
среди цветов, и музыки, и песен.

Смеясь и торжествуя, мы пойдём,
сплетая руки в тесные объятия.
Все вместе мы!
Вернулись в каждый дом
мужья и сыновья, отцы и братья.
Война окончена!
Фашизма в мире нет!
Давайте петь и ликовать, как дети!
И первый год прошёл,
как день,
как десять лет,
как несколько мгновений,
как столетье.
Год отступлений, крови и утрат.
Потерь не счесть,
страданий не измерить.
Припомни все и оглянись назад —
и разум твой откажется поверить.
Как многих нет,
и не сыскать могил,
и памятников славы не поставить.
Но мы живём, и нам хватило сил.
Всех сил своих мы не могли представить.
Выходит, мы сильнее самих себя,
сильнее камня и сильнее стали.
Всей кровью ненавиздя и любя,
мы вынесли,
дожили,
достояли.
Мы стоим!
Он прожит, этот год.
Мы выросли, из нас иные седы.
Но это все пустое!
Он придет,
он будет,
он наступит,
День Победы!
Пока мы можем мыслить, говорить

и подыматься по команде: «К бою!»,
пока мы дышим и желаем жить,
мы видим этот день перед собою.
Она взойдет, усталая заря,
согретая дыханием горячим,
живого кровью над землей горя
всех тех, о ком мы помним и не плачем.
Не можем плакать.
Слишком едок дым,
и солнце светит слишком редким светом.
Он будет, этот день,
но не таким,
каким он представлялся первым летом.
Пускай наступит в мире тишина.
Без пышных фраз,
без грома,
без парада
судьба земли сегодня решена.
Не надо песен.
Ничего не надо.
Снять сапоги и ноги отогреть,
поест, умыться и поспать по чести...
Но мы не сможем дома усидеть,
и все-таки мы соберемся вместе,
и все-таки, конечно, мы споем
ту тихую,
ту русскую,
ту нашу.
И встанем и в молчанье разопьем
во славу павших дружескую чашу.
За этот день отдали жизнь они.
И мы срываем затемнение с окон.
Пусть загорятся чистые огни
во славу павших в воздухе высоком.
Смеясь и плача, мы пойдем гулять,
не выбирая улиц,
как попало,
и незнакомых будем обнимать затем,

что мы знакомых встретим мало.

Мой милый друг, мой сверстник, мой сосед!
Нам этот день — за многое награда.
Война окончена. Фашизма в мире нет.
Во славу павших радоваться надо.
Пусть будет солнце,
пусть цветет сирень,
пусть за полночь затянутся беседы...
Но вот настанет следующий день,
тот первый будний день за праздником Победы.
Стук молотов, моторов и сердец...
И к творчеству вернувшийся художник
вдохнет глубоко и возьмет резец.
Резец не дрогнет в пальцах осторожных.
Он убивал врагов,
он был бойцом,
держал винтовку сильными руками.
Что хочет он сказать своим резцом?
Зачем он выбрал самый трудный камень?
Он бросил дом, работу и покой,
он бился вместе с тысячами тысяч
затем, чтоб возмужавшею рукой
лицо победы из гранита высечь.
В какие дали заглядишься ты,
еще неведомый,
уже великий?
Но мы узнаем Зоины черты
в откинутом,
чудесном,
вечном лике.

Май — сентябрь 1942